

Ольга Балла

Упражнения в бытии

О карманной литературе

Дневник хорош тем, что его, в отличие от, допустим, романа, можно писать бесконечно, — да и читать бесконечно, с любого места и в любую сторону. Это же личная, собственная, карманная бесконечность. Как говорила Марина Ивановна Ц., «писать надо только те книги, без которых не можешь жить, короче — свои настольные». Я пишу — свои карманные.

* * *

О чувстве текста

А всё-таки возня с чужими многословными, аморфноватыми текстами кое-что безусловно даёт. Она воспитывает чувство текста, которое, между прочим, — одна из форм внутренней дисциплины: и души и ума, — и из важнейших. Формирует его буквально в кончиках пальцев. Отредактировав ТАКОЕ, сама так уже не напишешь. Это — мощная прививка от неумного, неконструктивного избытка. Начинаешь не просто ценить короткое до скупости, сгущенное, точное слово, но испытывать потребность в нём — как в воздухе. Лучше недосказать, чем «пересказать». Остальное читатель пусть в себе выращивает. Искусство письма — коли мы уж сегодня о разных искусствах говорим — это искусство нехватки.

Вот затем и стихи нужны. Они воспитывают уже самой своей формой; не дают смыслу расплзтись, учат его укладываться и концентрироваться в заданных рамках. Чтение стихотворного текста уже само по себе, хоть немного, — отчётливый опыт структурности бытия и приводит душу в порядок.

* * *

О смыслах неорганизованности

А вот ещё зачем нужно, даже необходимо тянуть, транжирить, терять время, разбрасываться и запускать всё: не только потому, что это сладко и полнота жизни, это само собой, а чтобы потом, в последнюю минуту, КАААААК со-

браться! КАААААК сконцентрироваться! КАААААК сделать всё быстро!.. Это же прямо изменённое состояние сознания. Включаются такие резервы психики (и соматика), о которых мы в случае регулярного и правильного образа жизни и понятия никакого не имеем. Не доведя себя до отчаяния, такой степени внутренней точности, такой внутренней скорости не достигнешь никогда. Никогда, повторяю, и «профессионализм» никакой не поможет, потому что это уже немного запредельное — тут надо пределы взломать.

* * *

О смыслах повторения

И ещё хочу, чтобы можно было путешествовать во времени (ладно, из соображений метафизической экологии я согласна даже на то, чтобы ничего нельзя было там менять, хотя, впрочем, тут бы я ещё поторговалась с Высшими Силами) — и в своём собственном, и в Большом, выходящем за пределы моей жизни, — и заново проживать какие-то ситуации, примерно так же, как мы многократно слушаем одну и ту же звукозапись или перечитываем книгу: каждый раз ведь хоть немного да иначе — «одно и то же», ложась на новый душевный материал, на новую внутреннюю ситуацию, каждый раз по-новому их организует, вообще — что-то новое с нами делает.

У человека есть всё-таки глубинная потребность в повторениях — ничуть не меньшая, чем в новизне (не говоря уж о том, что и повторение само по себе способно быть коли не источником, так стимулом новизны — раз в одну и ту же «матрицу» вкладываются, ища возможностей разместиться в ней, всякий раз новые содержания). Повторение — один из способов упорядочить нашу душевную (да и прочую) жизнь, склонную к хаотизации, этим оно сродни стихам, которые уже одними только своими повторяющимися ритмами приводят душу в порядок — почти, а иной раз и вовсе, помимо слов. Или музыке с её повторяющимися структурами.

Я бы расширила репертуар повторяемого за счёт заново-проживаемых ситуаций жизни — во всех их плотских подробностях: запахи, собственное телесное состояние и самочувствие, температура воздуха... Кажется, это бы многое дало.

* * *

О чужом

...да ВСЁ — чужое. (И как таковое — должно бы восприниматься не иначе как с изумлением и обострённым вниманием). Всё — чужое, включая то, что нам врождено — точнее, то, во что мы волею случая родились. Это «рождение в», вкупе с привычкой, скорее скрадывает неустранимую, коренную странность человеческих дел в нашем окружении, нежели помогает нам их понять и прочувствовать. Мы «просто» привыкли; но эта привычка — ослепление.

* * *

Об истоках консерватизма

Заведенный порядок жизни — тесно сплетенная сетка, которая удерживает нас над бездной.

В каком-то смысле поддержание, воспроизведение — на уровне мелочей — порядка жизни — самообман: уговаривание, заговаривание себя мелочами, закрывание себе ими глаза на эту самую бездну. Но не смотреть же в неё, не смотреть, когда время падать ещё не пришло! Да, иллюзия, но для чувства надёжности и защищённости иллюзии вполне довольно — а без него куда?

Потому-то мне всё меньше и меньше хочется (лучше: всё отчётливее, всё упорнее не хочется) нарушать порядок жизни: бездна близко. Всё ближе и ближе.

Вот она, основа старческого консерватизма. Формируется во мне прямо на моих глазах.

Пестование деталей. Каждая привычная деталь как бы подтверждает нам нас самих — «лишний» (на самом деле никогда не лишний!) раз. С приближением к смерти это становится всё дороже, каждая деталь — всё острее, всё незаменимее.

Оказывается, неправда, что с приближением к старости восприятие у человека — и жизнь в нём вообще — притупляются, гаснут. Нет, происходит что-то другое.

На днях вычитала в ЖЖ — вычитала и прямо вздрогнула: «После тридцати жизнь в человеке засыпает». Во как! После тридцати! На самом деле я бы тут не обобщала: у меня, например, этого после 30-ти не было (и сейчас нет) —

и, думается, не у меня одной. Но, может быть, это потому, что у «среднестатистических» посттридцатилетних жизнь обычно «устраивается» и делается привычной — приобретает (ясно, что обманчивую!) видимость рутины и всякого там «с нами ничего не происходит и вряд ли что-нибудь произойдёт». У меня же она хоть в каком-то из традиционно-главных аспектов непременно оказывалась «не устроена», и это постоянно «будило» меня. Жизнь моя была сплошной бессонницей — и снами наяву.

Видимо, наступает иная, чем в молодости, острота — и иначе распределённая. В молодости я не тряслась так над каждой крупинкой жизни и — в силу этого — уж и подавно не была склонна так, как сейчас, всё-подряд-всем-прощать (ведь прощение и прощание — даже не родственны друг другу, а просто одно и то же, а я, конечно же, чувствую себя уже входящей в зону прощания — даже если она окажется очень большой). Сейчас я постоянно чувствую, как хрупка драгоценная ткань жизни, как она может порваться абсолютно в любом, непредсказуемом месте. Конечно, одно из имён этого чувства — трусость (сказать «тревожность» будет даже слишком комплиментарно).

И это всё притом, что у меня сейчас — явный прилив жизни: у неё ведь бывают приливы и отливы, и отливы бывали очень долгими. А сейчас пошло такое сгущение, что я, по тревожному своему обыкновению, так и думаю: уж не перед прощанием ли? (Конечно, перед ним; ведь мы все — перед ним.)

* * *

Об освобождении от прошлого

Мест, свободных от моей собственной памяти, в Москве, кажется, уже не осталось. Этот город так перенасыщен личными смыслами, что в нём от самой себя буквально некуда деться. Нельзя столько лет жить на одном месте.

Понятно, что верный способ не стареть, не коснеть, а сохранять рост, гибкость и необходимую для них восприимчивость к новому — умение освобождаться от прожитого. Перемещение в пространстве — наверно, самый простой, «механический» способ такого освобождения. Но должны же быть и какие-то ещё?!

Умение освобождаться от прожитого мне даётся, наверное, менее всего. Меня до сих пор преследует многое из пережитого в детстве; о том, что было, например, года три назад, — и говорить нечего: это просто жгучая актуальность, которую впору чем-то глушить.

Это всегда казалось мне помехой взрослению, приобретению зрелости: неумение освободиться от молодости, от молодых реакций, трудностей... — в конечном счёте — помехой росту. Всё время таскаешь эту самую молодость в себе вместо того, чтобы оставить её в прошлом и обживать новые возрасты и состояния. Избыток неизжитой (значит — косной, твердеющей) молодости и приводит к старости — к неадекватности и негибкости. Старость — в каком бы возрасте она ни случилась — это неумение жить «здесь и сейчас». Я этого не умела почти никогда.

* * *

Ещё о приметах взросления

Одно из освобождающих последствий старения — или, может быть, взросления, если предположить, что оно продолжается всю жизнь, чего я совершенно не исключаю: ослабление чувства (вплоть до исчезновения его), будто я «упускаю» жизнь (притом непременно — в существенных её аспектах!), не находясь там, где меня сию минуту нет. Что «настоящая» жизнь вообще там, где меня нет, и что я в ней не участвую, и что это беда, и что я сама в этом виновата.

Ходячие стереотипы, как известно, гласят, будто «взрослый» человек живёт, ограниченный своим настоящим (соответственно: молодой, становящийся — в будущем, а старик, убывающий, ясное дело, в прошлом). Что-то, похоже, всё-таки есть в ходячих стереотипах — хоть и не всё. В прошлом я жила отродясь и вообще воспринимаю жизнь как сплошное накопление прошлого. А вот настоящее, похоже, начинаю чувствовать острее. Только не чувственно-эмоционально, как в молодости, а скорее метафизически.

Я стала жизнь — в её текущих, случайных, преходящих, обречённых формах — оправдывать (в юности, как водится, была большой категоричной нигилисткой, и вся эта текущесть-случайность скорее раздражала: уже хотя бы тем, что

не совершенна и не вечна). Это всё, конечно, легко выводится из страха смерти — может быть, исключительно из него.

Теперь у меня, кажется, нет тоски по той (воображаемой) жизни, в которой я не участвую и тем самым её «упускаю». Нет у меня потребности в своём непрременном присутствии «где-то ещё». Вся полнота жизни помещается у меня теперь «здесь и сейчас» (включая всё воображаемое отсутствующее — его достаточно только воображать, совершенно не нужно в нём быть физически), не переставая быть полнотой жизни.

Я уже чувствую своё ближайшее окружение остро и подробно до неисчерпаемости, так называемую привычную повседневность — как чрезвычайно насыщенную и осмысленную буквально в каждой своей детали («чужое» — опустошено, «своё» — тем больше своё, чем больше насыщено). Отчасти это сопоставимо с тем, что было в детстве, особенно в раннем, когда каждая подробность бытия была крупна и значима, — но только отчасти. (Как сказала процитированная, не помню кем, в ЖЖ старушка, «деточка, не беспокойся: в старости всё будет как в детстве, только лучше».)

* * *

О пластичности

Нас воспитывает абсолютно всё, что мы делаем. Каждое движение; каждая мелочь способна впечатываться — да и впечатывается — в форму нашей личности, нашего существа. Человек сам, может быть, не чувствует пределов собственной пластичности.

* * *

О преодолении страха

Думаю, вот каким может быть один из путей к избавлению от страха (он, конечно, немного рассудочный, то есть заведомо не полный — ну что же делать. Возможный выход: постараться пережить, прочувствовать это вполне себе умозрительное положение):

надо найти тому, что чувствуется страшным, место в структуре мотивов и смыслов своей жизни, понять «страшное» как органичную, неотъемлемую часть этой структуры. В этом случае есть шанс, что мы сами пойдём ему (страшному) навстречу.

Мы должны, иными словами, понять и прочувствовать необходимость этого страшного для себя. Понять его не как противоположность нам, а как часть нас — да и неотъемлемую.

Мы должны научиться жить с ним. Мы должны понять, что ЭТО не отменяет жизни (может быть, даже напротив: укрепляет, усиливает, увеличивает её) — даже если мы в результате этого умрём.

(Конечно, улаживание отношений со страхом — частный случай улаживания отношений со смертью. Но так — со всеми, подозреваю я, важными обстоятельствами и отношениями жизни. Жизнь — это сплошной диалог с Ней.)

* * *

О возрасте

Возраст — это ещё и постепенное отпусканье на свободу и себя, и всего, что с нами связано. Первая половина жизни: набирание себе бытия во всех мыслимых формах, установление и формирование связей. Вторая: постепенное распутывание этих связей.

В неприменном-выяснении-всего-до-самого-конца есть какое-то насилие: и над партнёром по общению, и над собой, и недоверие к обоим — и к нему, и к себе. В первой половине жизни я люто въедалась в разные подробности бытия, в том числе и бытия отношений, анализируючи: «во всём», дескать, «мне хочется дойти до самой сути». Теперь меня стал останавливать страх перед разрушением.

Это как-то связано с чувством, что никакая часть этого самого бытия — включая и любимого человека, включая даже нас самих! — никогда не будет нам принадлежать не только целиком, но даже, может быть, с достаточной степенью полноты. Что одно из основных свойств бытия — ускользание (та самая самодостаточность), и не надо его насиловать, а надо-де благословить, поблагодарить и отпустить. В отказе от «предельного» — до пределов доходящего -анализа есть и отказ от обладания: одна из форм смирения. А оно — одна из форм свободы.

Меня почти уже не мучает (ещё, кажется, в первой половине этого года мучило! ещё совсем недавно!) чувство «экзистенциальной недостаточности»: недостатка лично, с личным участием прожитого бытия. Уже почти не больно от

солнечных дней, в которые со мной — и с моим активным участием — не происходит ничего крупного и значительного. Чуть-чуть только больновато. В молодости это просто выжи-гало огнём.

У души — тоже вопреки одному из ходячих высказываний — есть возраст. (Он, небось, и у духа есть, потому что возраст — это структура и форма, не говоря уж о содержании, которое много чего определяет.) И уход молодости (и жизни) — это не только перераспределение чувств, но и их изменение, и их убывание.

Всё-таки, чем ближе к концу, тем больше понимаешь, что лично твоя жизнь (которой к тому же становится всё меньше) перестаёт иметь значение сама по себе. Может быть, «сама по себе» она его имеет только в пору становления и прибывания — а может быть, и это только кажется. А теперь мы раздаём все наши значения, смиряемся с несбывшимся — и уходим. И это настолько нормально, что никакой трагедии.

Мы делаемся всё прозрачнее и прозрачнее (как в том сне, в котором в море света плавали, растворяясь, полупрозрачные предметы-тени). Сквозь нас, таких горячо-плотных в молодости, всё больше просвечивает мир-как-он-есть. Пока мы совсем не растворимся в нём.

В этом смысле, конечно, умирание (и смерть) не страшны: ведь не страшно же нам засыпать, особенно в конце долгого дня, когда от усталости нас клонит в сон, и приятно, и естественно поддаться ему, и мучительно не иметь возможность заснуть — вот так прожившего, изжившего свою жизнь человека клонит в смерть, и приятно, и естественно поддаться ей, и мучительно не иметь возможности умереть.

Убывание — это тоже интересно. Это тоже содержательно. Это ничуть не менее интересно и содержательно, чем рост. Честное слово. Разве что немного спокойнее по чисто «гормональным», что-ли, причинам.

Я уж не говорю о том, что умирание — тоже форма жизни. Ведь пока мы умираем — мы живём, просто потому, что мы живём вообще каждое мгновение, — и, что гораздо интереснее, в каждое из мгновений вся наша жизнь — с нами и в нас. Убывая в каком-то одном из смыслов, в другом она накапливается и оставляет нас — только вся сразу.

* * *

Роман с убыванием

В молодости был у меня роман с бытием, с жизнью, с книгами, с другими людьми, с самой собой. Теперь у меня роман с убыванием.

Кстати, этот роман способен точно так же отвлекать от делания необходимого, как все прочие.

* * *

Сезонные смыслы

Осень — счастье сама по себе. Настолько, что в ней — мнится — можно обойтись и без всякого другого счастья. Она сама, вся, всеми запахами, всеми оттенками света и цвета — какое-то очень несомненное свидетельство осмысленности и оправданности жизни. Осень — большое и спокойное «Да» всему. Всему, что уходит — во всяком случае. Всему, что остаётся — тем более.

Осенью хороши даже солнечные дни (с которыми у меня вообще-то трудные отношения). Сентябрь — непрерывная эйфория, которая и не думает отменять грусти, но прекрасно с ней уживается, сочетается и взаимоусиливается. Осенью хорошо ВСЁ.

Осень хороша и пронзительна уже хотя бы тем, что она живое убывание и постоянное изменение, поэтому дорожишь каждой её секундой. (Она — свидетельство ещё и ценности жизни — в её, ясное дело, нераздельности с хрупкостью, обречённостью, исчезновением.) То, что летом казалось обыденным и плоским, осенью становится напряжённо-красивым, — с некоторой, может быть, болезненностью и преувеличением, — но это хорошо компенсируется осенним спокойствием.

А ещё осень — спуск к основам бытия. Летнее, наносное, суетное исчезает. Отсюда и осенняя грусть, и осенняя уверенность, и осеннее спокойствие. Осень — старый, грузный, тяжело дышащий лифт, спускающий нас к Корням Всего. Мелькают этажи в его решётчатых дверцах. Всё ближе Подвал. Подвал — ноябрь, Чёрная Осень. И в самой её черноте уже — обещание подъёма. Она поэтому — самое честное время года — и самое радостное. Не лёгкой, сумасшедшей радостью весны, а другой: уверенной, глубокой, сильной. Чёрный

ноябрь — распаханный, распластанный чернозём, дышащий и ждущий, когда в него будут брошены новые зёрна.

Проживший осень до конца, с полным вниманием уже очень многое знает о жизни.

* * *

О метафизической оптике

Одна из самых, кажется, адекватных форм отношения к оформляющим, направляющим жизнь ценностям — угадывание. Рациональный анализ в свете этого — вещь глубоко вторичная. Вернее всего они угадываются по нашей собственной форме, по движениям нашего внутреннего существа. В каком-то смысле, несомненно, «вслепую» — но есть же у человека и внутренние глаза; более того, и у души — понимающей-воспринимающей части человека — есть «глаза» и внутренние, и внешние. Рациональный анализ, проговаривание в тех или иных формах — это «глаза» внешние. Угадывание, «душевное осязание» — это глаза внутренние. Они видят инфракрасные и ультрафиолетовые лучи бытия — за пределами оптически-рационально воспринимаемого спектра.

* * *

Невроз интерпретации

Каждое наше действие может быть прочитано — и прочитывается — как высказывание. Как туго свёрнутое высказывание-кокон, которому ещё предстоит быть развёрнутым — и развёртывать можно по-разному: можно терпеливо, медленно распутывать, следуя вдоль естественных складок, их прихотливых и случайных извивов. Можно сразу скальпелем рассечь. А можно так и оставить свёрнутым. И догадываться о том, что там внутри, по узорам и пятнышкам на внешней шкурке.

В нашей (обобщенно говоря, европейской) культуре накоплен превеликий потенциал интерпретационного насилия: большое количество интерпретирующих техник, позволяющих так или иначе совлечь с явления его оболочку-видимость и проникнуть к его «подлинной» сущности (которая потому и подлинна, что скрыта; а внешнее уже потому и ложно, что внешнее). А главное — само представление о том, что такое проникновение — ценность.

Я бы даже сказала, что в нашей культуре сформировался своего рода невроз интерпретации: всё видимое, переживаемое непременно надо толковать — подозревать его в непрямоте, неполноте высказывания и выводить, непременно же, на «чистую воду».

Всякому человеческому действию, состоянию — всему человеческому вообще — следовало бы оставить право на недовысказанность, недопроявленность. Право остаться намёком, а не полным высказыванием.

Преследуется этим по меньшей мере две цели. Тому, что высказывается, предоставляется свобода (в том числе и свобода изменений: право перестать в любой момент быть тем, чем оно себя заявляло хоть бы и за минуту перед этим, — и стать чем-то ещё, может быть — скорее всего! — никак не соотносящимся с нашими представлениями и ожиданиями). Тому же, к кому это хотя бы теоретически может быть обращено, — ...тоже свобода: домысливания, внутреннего дотраивания — и тем самым внутреннего роста в самом же собой задаваемых (хотя и провоцируемых предметом восприятия) направлениях.

Что же касается «адекватности»/достоверности/точности понимания/внутреннего воспроизведения в нас предмета, то она — лишь частный случай всего многообразия возможных форм восприятия и моделирования, не самый большой по объёму и, хлеще того, подозреваю, — не самый культурно значимый.

* * *

О невозможности спокойствия

Кажется, что сам факт конечности, обречённости всего должен бы обострять жизнь, делать невозможным не только отношение к чему бы то ни было как к рутине, но и равнодушные и, может быть, спокойствие вообще. Ведь всё — единственно и однократно, даже то, что постоянно повторяется и проходит — исчезает — прямо на наших глазах.

Если всё воспринимать адекватно, то — только обострённо и экзотично. То, что люди, как правило, этого не делают, объясняется, кажется, одним: естественной ограниченностью наших сил. Если бы мы ВСЁ переживали так, как оно того стоит, — нас бы разорвало. Наше «равнодушие» —

естественное сужение душевных зрачков при режущем-ярком свете бытия.

* * *

О критериях оценок

А надёжнее всего значение для нас (ну, ладно, для меня — но обобщить же хочется!) чего бы то ни было определяется по некоему идущему из нас, изнутри — навстречу тому, что переживается, — внутреннему движению. Оно-то, не имеющее ничего общего со словесными формулировками (зато очень определяющее и направляющее их), родственное скорее цвету или бессловесному звуку, и указывает, какое место в нас предстоит занять тому, что пытается оформиться в некое переживание — превращает его в факт опыта. Оно, вроде бы бесформенное (как, в самом деле, очертишь его границы?..) оказывается формообразующим. Образует в конечном счёте нашу собственную форму, которая и складывается из занявших своё место единиц опыта.

* * *

О производстве прошлого

Чтобы стать действительно Прошлым — «самим собой», — обрести цельность и собственные неповторимые интонации, прожитый кусок жизни должен в нас «отлежаться». Не просто отодвинуться от нас на некоторую дистанцию (само по себе это ничего не даёт, хотя одним из условий, пожалуй, и является), но именно отлежаться — и слежаться: выработать, вырастить в процессе этого якобы пассивного, «бессобытийного» лежания устойчивые связи между своими элементами, дать проступить на своей поверхности некоторым, вначале неявным, краскам, которые позже будут господствовать в облике этой единицы прошлого. Чтобы набор изначально разрозненных элементов слепился в цельность, каждый элемент которой будет отныне означать все остальные (особая «голографичность» хорошо отлежавшегося, созревшего прошлого: в каждой его детали — оно ВСЁ).

Причём трудно — если возможно вообще — сказать обобщённо, сколько времени нужно на такое отлёживание: от нескольких часов до многих лет. Отлежится — и, созрев, проступает в нас, образуя неотъемлемый уже элемент среды нашей душевной жизни.

* * *

О символогенезе

Встречаются вещи — причём трудно с ходу назвать их непрменные родовые признаки, это может быть что угодно (например, запахи очень любят бывать такими, но также и некоторые сочетания предметов, свет, под определённым углом падающий на их поверхности...) — которые так и просятся стать символами чего-то: и приходится подбирать, нащупывать им «означаемое». Вещи, так сказать, с большим «символизирующим» потенциалом. Это — будущие символы, символьное «сырьё», заготовки. Они только ищут себе значений — и не факт, что найдут.

* * *

К энциклопедии запахов

Запах жареной картошки: очень хорош, когда требуется душевное возвращение в посюсторонность и... хотела сказать, сиюминутность, ан нет: это скорее округлая, уютная, домашняя всевременность. Без грозных обертонов Вечности и совершенно без всяких метафизических перспектив. Под него, как под крыло, хорошо прятать голову. У него есть форма: она, повторяю, округлая — и чёткое послание: он сообщает нам, что всё на своих местах и всё будет хорошо.

Есть запахи, зовущие, тянущие нас за пределы самих себя. Этот — возвращающий. В нём всегда немного семидесятые годы. И старая квартира, непременно с высокими потолками, в которой давно не было ремонта. И дремотный, долгий вечер школьного дня позднего детства. И некоторая тупиковость этого медленного времени. Так что на самом деле это запах с довольно большой перспективой и богатой семантикой.

* * *

К антропологии вещи

Только сегодня хватилась, что, оказывается, потеряла одну вещь, жившую у меня совсем недолго (матушка из Праги прислала весной) и очень со мной сросшуся: подвеску на шею в виде свившейся в кольцо змеи, на тонком кожаном ремешке (пошла в пятницу в магазин покупать свитер, да и забыла змею в примерочной кабинке — а не надо было сни-

мать). Вещь совершенно ерундовая, и практической значимости-то никакой, но своей фактурой и пластикой так со мной совпавшая, что, казалось бы, просто предназначенная для нашей с нею долгой, интенсивной и естественной совместной жизни. И вот тебе.

Удивительно, думала я, что расставание с предметами может быть таким болезненным (а всё — их символическая насыщенность, пусть даже имплицитная). Чувство буквально вырванного из жизни куска, нарушенности собственного естества, экологических его равновесий. Утраты части себя.

У меня вообще трудно складываются отношения с вещами (мы с ними дичимся друг друга; я их плоховато чувствую, особенно это относится к предметам одежды и вообще всего надеваемого на себя, включая, например, очки, — всего, чему предстоит образовать часть меня) — трудно до, иной раз, невозможности бывает найти свою вещь — оттого в моих отношениях с вещами слишком много вынужденных, вымученных союзов, явно безрадостных для обеих сторон. Тем труднее оказывается разрыв отношений с вещью, с которой они вдруг, редкостным образом, почему-то однажды складываются. Это всякий раз — серьёзная прореха в бытии, которая долго зарастает и долго чувствуется, метафизический сквозняк и метафизический же холод.

(Надо ли повторять, что вещи оберегают нас от небытия? Они — стражи на границах между ними и Им. И вот — прореха в границе.)

(Странно, что отношения с книгами — как бы книга ни была сложна — устанавливаются почему-то неизмеримо легче. Неужели книги менее своевольны? Это книги-то, с их, по большому счёту, неисчерпаемой внутренней перспективой? Честное слово: каждая книга, вплоть до какой-нибудь «Курочки Рябы», — точка входа в бесконечность. Знаете ли, почему? Как ни смешно, потому, что она состоит из слов. А слово — никакое — не сводится само к себе, существует в бесконечности во все стороны расходящихся связей.читающий какую-то одну книгу в некотором смысле читает ВСЁ.)

И вот почему, при понимании и чувстве всего этого, мои отношения с книгами складываются не в пример легче и быстрее моих же отношений с бессловесными вещами, этого я не могу понять. Наверно, у меня с книгами есть какой-то

общий язык. Который остается общим при всех наших разногласиях.)

* * *

Дожить до вечера

Отношения со смыслом отчётливо различны в разное время суток. Причём как со смыслом «вообще», «жизни вообще», каких-то не связанных с нами предметов — так и с живым, прихотливым, телесно-воплощённым смыслом собственной жизни. Днём (у меня, по крайней мере) — навязчивое чувство, что я теряю не то что даже время, а сам смысл (с которым оно — в глубочайшем родстве: кажется, это — две ветви одного и того же), теряю возможности наладить с ним отношения: днём и время, и смысл рассыпаются, просыпаются в пустоту. Не то — вечер: в нём, кажется, нет ничего случайного (а всё «случайное», соответственно, так и норовит найти себе какой-нибудь смысл, вращая в какую-нибудь смысловую цельность). Вечером ничего не теряется, он, густой, всё обволакивает и всё в себя вовлекает, каждая мошка обретает красоту и вечность в его янтаре. Вечером жизнь осмыслена и оправдана сама собой, уже потому, что она есть. Простейший способ оправдаться в собственных глазах — дожить до вечера.

* * *

Оправдание несоответствий

К сущности человека, помимо многого прочего, принадлежит неточность: принципиальная неточность, которую не способна — и не должна — заменять никакая точность (предмет человеческих вожделений, ценность из ценностей). Причём неточность по меньшей мере двойная.

Прежде всего, неточны сами идеалы (вряд ли те же древние греки узнали бы себя в той «античности», которой хотели подражать люди, скажем, эпохи Бонапарта, а те, в свою очередь, должно быть, в ужасе отшатнулись от настоящих греков). Кроме того, метая в (собственноручно сконструированный) идеал, человек никогда, по определению, с ним не совпадает, производя на свет взамен соответствия идеалу нечто совершенно другое — что и становится исторической реальностью и что без изначально «не так» выполненного

задания никогда бы не возникло. Неточность = неправильность = несоответствие (искоренение которых, по идее, ставит себе задачей всякое сознательное воспитание, формирование человека) продуктивны как, может быть, ничто другое, причём на всех уровнях — от больших исторических предприятий до индивидуальных биографических проектов, которым тоже нужны всякие «образцы».

Так что идеалы с образцами если для чего и нужны (а ведь нужны, нужны!..), то как раз затем, чтобы с ними не совпадать, отклоняться от них. Область нашего совпадения с ними — наименее интересна.

Это всё, конечно, разговоры с собственным навязчивым, поскольку (моё) несоответствие (идеалам, ценностям, образцам, правилам, нормам...) — из самого мучительного для меня с начала жизни и до сих пор. (Я как раз из тех не слишком удачно устроенных людей, которые способны интенсивно задумываться лишь о том, что задевает их лично, если не скатать даже интимно. Результаты мозговых усилий могут иметь какой угодно отвлечённый вид, но корень у них неизменно один, скудненький такой: личная уязвлённость.)

* * *

Олигография

А всё-таки писать надо мало. Согласна, пусть каждый день — для создания непрерывности (письменно выраженной, словесно оформленной) внутренней жизни. Но — крайне скупое (короткие тексты концентрируют смысл). Установить, может быть, жёсткий лимит на слова: не больше такого-то их количества (очень небольшого). Ну абзац, ну два, ну три. Но никак не страницами.

Это — чтобы не разбалтывался, не доходил до совсем уж-автоматизма механизм словопорождения, чтобы преодоление порога между молчанием и словом всякий раз требовало хоть сколько-то заметных усилий. Чтобы всегда оставаться хоть чуть-чуть косноязычной — а слово (может быть, даже обозначающее вполне повседневные, вроде бы «маленькие» вещи) ощущать как событие. Чтобы не панибратствовать с ним.

Тогда есть небольшой шанс написать (следственно, и подумать: письмо — это способ мышления, не столько фикса-

ции мыслей, сколько порождения, выработки их) хоть что-то значительное и содержательное. Надо, чтобы было трудно. Слова надо хоть немного, да бояться.

* * *

О достоверности

Не затем ли нужны кризисные ситуации, разломы повседневности, чтобы сломать инерционность восприятия человека (в которой он упорствует хотя бы из-за её удобства) — чтобы через эти щели в нас входило надмирное? Пусть болезненно, пусть с нашим сопротивлением — ведь иначе не вместить.

И беды, и поражения (именно мучительно переживаемые, именно страшные) — нужны за этим же. Старое-старое: они сокрушают нашу гордыню. Они открывают нам (внутренние) глаза на нашу несамодостаточность, на нашу вписанность в такой порядок бытия, который не на нас рассчитан. Тоже «болевое зрение»: иначе как болью, сопротивлением всего нашего маленького существа этого и не увидишь. Тут чем больнее, чем труднее — тем правдивее.

Честно говоря, по интуициям мне иной раз (часто!) куда ближе (естественнее, правдивее) кажется «ветхозаветная» версия грозного, непредсказуемого, ни-с-чем-нашим-не-соизмеримого Божества, чем христианский образ любящего и милосердного Бога. «Дикий» ветхозаветный Бог, который каждым Своим шагом устанавливает законы там, где их прежде не было, каждым шагом Своим связывает прежде не связанное, — вот Кто — при всей Его заведомой непонятности — чувствуется мне в некотором смысле более «понятным». Господь сокрушающий.

Разумеется, я всецело готова признать, что это — вопрос индивидуальной восприимчивости и даже индивидуального воображения, к которому Он подлинный не имеет особого отношения.

Свидетельства Его бытия — наша боль, наши невозможности, наши немощи, наши внутренние и внешние тупики. А не успехи наши, не торжество наше — в этих последних всегда есть что-то временное, уязвимое, хрупкое. Состояния устроенности, защищённости, «надёжности» — совсем небольшие островки в бытии, чтобы мы могли дух перевести. Беды же более надёжны. В них мы обретаем достоверность.

Поэтому, чувствуется, есть что-то очень мудрое в том, чтобы принимать беду и поражение: давать им состояться с нами, проработать нас.

* * *

К антропологии вещи

Вещь способна стать хорошим посредником в наших отношениях с миром и с самими собой — очень адекватным, иной раз просто незаменимым. Вещь — одно из самых важных средств создания нам «экзистенциальной оптики», нашей настройки на бытие. Мы с ними — не в отношениях владения, но в отношениях взаимообуславливания. Вещь иной раз (едва ли не постоянно) кажется мне (почти-) самостоятельным началом в бытии, с собственной интонацией в нём.

Мы вступаем с вещами в (почти-?) равноправный диалог. И в этом смысле, пожалуй что, они хоть в какой-то мере да «владеют» нами — потому что хоть в какой-то мере да определяют нас, диктуют или подсказывают, какими нам быть. Чувствуется даже, будто им стоит довериться — во всяком случае, некоторым вещам: безусловно, есть вещи, которые — хоть в чём-то — мудрее нас.

* * *

Оправдание навязчивостей

Душевная жизнь необходимо строится (скорее уж растёт) с повторениями, с возвращениями к одним и тем же тематическим точкам. Их можно назвать точками возвращения или точками накопления (они же, пожалуй что, и точки интенсивности), потому что за счёт этих постоянных возвращений в них происходит накопление — если даже и не смыслов (хотя почему бы нет?), то, во всяком случае, — душевного материала. Постоянное «возвращение» — своего рода закон жанра, которому, думаю, не стоит противодействовать, выпрямляя траектории внутреннего движения. Эти точки способны быть и участками повышенной плодотворности.

* * *

Психогеографическое

Хорошо бы выстроить карту Москвы (когда долго, а особенно всю жизнь, живёшь в одном городе, он превращает-

ся в проекцию твоей собственной личности, притом весьма, чуть ли не излишне, подробную) в соответствии с тем, какое из пространств оказывается «ключом» к каким из моих внутренних смыслов (в том числе — и принимаемых за общечеловеческие).

Вот, например, в Москве есть места (разумеется, они могли бы быть и где-то ещё, просто Москва мною подробнее всего исхожена) с повышенной — для меня — «проницаемостью», где моя «метафизическая восприимчивость» отчётливо повышается: стенки осязаемого бытия тоньше обыкновенного. Пространства, переживаемые как места преимущественного (действенного, молчаливого, всем телом) диалога с образующими мир силами. Можно согласиться на более скептическую формулировку: места, где особенно разыгрывается «метафизическое воображение», за эту самую восприимчивость себя выдающее. Одно из таких мест, где земное-плотское бытие, не теряя своей достоверности и несомненности, тем не менее почему-то истончается и рвётся, как озоновый слой (бытие с «промывками» инобытия, как в пасмурном весеннем небе бывают «промывы» синевы), — окрестности метро «Тимирязевская»: некрасивое Дмитровское шоссе, далёкая от всякой цельной эстетики улица Костякова... Отчего это так — не берусь предполагать, но чувствуется неизменно. Это неуютное и остро-встревоженно-внимательное чувство. И неустойчивое: душа будто поставлена на ребро.

Есть в той же Москве и места (моей) повышенной метафизической «глухоты», снижения метафизической восприимчивости. Таково, например, почему-то Измайлово. Это пространство плотской подробности, пригнетающее к земле, несколько утяжеляющее, вязкое.

* * *

О потребности в неверии

У человека есть потребность не только в вере (иначе бы всё было слишком просто), но и в неверии.

Помимо потребности в Большой Опоре, в Верховном Ориентире, человек — по крайней мере человек индивидуалистической да ещё и пострелигиозной культуры, к которой я себя с полным основанием отношу, — испытывает потребность в выгораживании себе как можно более автономного

внутреннего пространства, в котором вообще ничто и никто ему не указ; места для непредсказуемых и нерегламентируемых внутренних событий. Потребность в отсутствии опоры, в безопорности, беззащитности как особом, ничем не заменимом виде опыта. Потребность в риске. Без этого, наверно, не получается в полной мере быть самим собой.

* * *

Бедами Господь переписывает нас набело. В разломы привычного нам бытия мы не то чтобы непременно видим божественный свет (слишком было бы легко; и потом, есть такая вещь, как ослеплённость несчастьем, за которую людей, включая и себя, никак нельзя осуждать, — слишком она естественна), но по крайней мере получаем возможность его увидеть.

Чтобы беда действительно подействовала на нас — заставила по меньшей мере собраться, сконцентрироваться, начать прикладывать усилия, по большому счёту — пересмотреть всё своё отношение к себе и к жизни вообще, всю свою основанную на этом деятельность, — она должна быть действительно бедой: уничтожающей, беспощадной, а не преходящим неудобством, которое мы, по изнеженности, принимаем за беду.

Только то поражение действует как следует, которое — по-настоящему поражение, без оговорок, без возможностей к отступлению. Чтобы из нас действительно получилось что-то стоящее, может быть, мы должны быть разрушены до основания. «Заодно» и узнаем, что является нашим основанием: то ли, что до сих пор хотелось, удобно было за него принимать, или что-то совсем другое.

(Слава Богу, сейчас это не связано у меня с текущим опытом. Это скорее воспоминание — тоже очень навязчивое — опыта уже прожитого, попытка разместить кое-что в своих внутренних ячейках, изобрести ему смысл. Изготовление смысла — одно из обычных занятий человека, так сказать, повседневная индустрия.)

Я отдаю себе отчёт в том, что такие рассуждения, скорее всего, непролазный антропоморфизм; что если есть в бытии некое Высшее Начало, вряд ли Оно соизмеримо с чем-то человеческим, то есть вряд ли Оно нам удобно даже в «гносеологическом» отношении. В данном случае это всего лишь метафоры.

Но мысль о Нём, о возможности Его проживания как личного опыта для меня — одна из навязчивых. Поэтому я даю ей думать так, как она думается, не слишком-то доверяя ни одному из её поворотов, но все их стараясь учитывать. И вполне допускаю, что прояснение и осознание проживания своих отношений с Ним — одна из сверхзадач человека, а может быть, и единственная его сверхзадача.

Всё чаще думается мне о том, что, может быть, подходы к её решению возможны на самых неожиданных путях, помимо колоссального слоя накопленных традиций, — именно потому, что этих последних так много. Они «подсовывают» подозрительно много готовых решений.

А вдруг истина — в том числе и Истина — коварна? То есть ускользает в тот самый момент, как только нам готово казаться, что мы её надёжно ухватили или вот-вот ухватим. Может быть, в число её (Её) тактик входит проблематизация всех наших надёжностей.

Теология (то есть осмысление и артикуляция религиозного опыта) сейчас может быть только «доморощенной»: не на исходных путях, а на окольных тропах; вырастающей из вроде бы слепого, вроде бы непредвзятого (на самом деле — ух как переполненного инерциями и неотрефлексированными условностями) повседневного опыта. Я потому и говорю о бедах, что они — места разрыва инерций. Разумеется, они не могут ничего «гарантировать» (предоставлением гарантий катастрофы вообще не занимаются). Они лишь открывают некую — очень травматичную — возможность, которую есть слишком много шансов не использовать.

* * *

...Всё-таки ценнее всего (мне) не спокойствие (даже — ясное, гармоничное спокойствие), а уязвлённость и неустойчивость. Они гораздо вернее — и шире — и принудительнее — открывают мне внутренние глаза.

* * *

Работа и я

А не преувеличиваем ли мы её, голубушку, как ценность (вообще эту самую постоянную занятость, которая претендует на то, чтобы делать жизнь осмысленной)? Совершенно

очевидно, что преувеличиваем: и работу, и качество работы, и самореализацию эту несчастную, у которой работа с её качеством и объёмом — якобы один из самых верных и показателей, и средств достижения. Хлебнули-таки и мы «протестантской этики» как источника ценностей и ориентиров. Не поработаешь — не спасёшься. (И ведь как коварно всё это в человеке действует, обращая на службу себе все наши самые-самые сокровенные ценности: вот, нашептываем мы (я) сами себе на ухо, кто много работает — тот улучшает-повышает своё человеческое качество, увеличивает интенсивность жизни; более того, чуть ли не — тогда только и живёшь по-настоящему, когда много работаешь... Отредактировала три статьи — вот тебе и настоящая жизнь, и полнота её, и оправдание!..И остро-остро заточенной себя чувствуешь, как карандашик! Прямо катаргическое действие, чуть ли не мистический опыт, прости Господи. Это уже симптомы зависимости, однако — ничуть не хуже навязчивой тревоги, когда не работаешь: а что это я не работаю?! Время уходит зря!!!.. Это же одного порядка вещи. Ломка без «работы», как без наркотика.) Хотя куда очевиднее, что «работа» — вещь сугубо инструментальная. Спору нет, «экзистенциальную оптику» она нам настраивает: фокусирует нам внимание, задаёт угол, под которым мы видим происходящее с нами — да хоть бытие в целом: работа — то закопчённое стёклышко, без которого нашим слабым глазам не взглянуть на солнце Бытия: режет, ослепнуть недолго.

Вообще, в ныне действующей европейской традиции, к которой и мы принадлежим, отчётливо фетишизируются (переживаются с явным преувеличением их значения, с ценностной «перегрузкой») по крайней мере две вещи (явно не только эти две, но эти, наверное, в первую очередь): «работа» и «любовь». (Нынешняя рекламная индустрия заставляет причислить к числу таких фетишей ещё «наслаждение» и «сексуальность». Вообще, неплохо бы увидеть — наверняка где-то уже существует — систематический и умный анализ таких фетишей-преувеличений современной культуры.) С переоценкой любви в своё время очень дельно разбиралась Карен Хорни. С переоценкой работы наверняка тоже кто-то разбирался, просто мне, кажется, не подалось.

Работа, как всякий инструмент, ограничена; способна сужать (и сужает как миленькая) нам поле зрения, спасительно закрывает нам глаза на многие вещи, не попадающие в сферу её компетенции (отсюда и феномен «трудоголизма», когда человек под самыми благовидными предложениями этой самой работой ставит на себя заглушку).

* * *

...и наоборот

Работа — «дело связи». Ею мы (чем бы ни занимались) проживаем, создаём и обрабатываем свои связи с другими представителями рода человеческого — и тем самым утверждаем себя как такого представителя.

И ещё это форма концентрированного, сосредоточенно-интенсивного — если угодно, даже экстатического — проживания смыслов. Работа — специально организованное для такого проживания пространство. Это — дом, «который всегда с тобой», панцирь, который мы носим на себе и создаём внутри него микроклимат.

Работа — заклинание действием. Себя и мира. Это простейшее, общедоступное и повседневно необходимое противостояние хаосу и преобразование ближайшего хаоса в ближайший космос. Маленькая карманная демиургия. Подтверждение своей человеческой природы. Человеческое, в отличие от животного, существует только в усилии воспроизведения — нуждается в постоянном подтверждении, заново-воссоздании — может быть, оно вообще не имеет «массы покоя»: едва оставливается — прекращает быть. Ещё короче: человеческое — это усилие.

Из сказанного следует, что отношения мои с работой (увы?) — прежде всего, почти-почти исключительно — идеологические («зарабатывание денег» — это в какую-то уж совсем последнюю очередь). Говорю же — сильно преувеличиваем; и не думаю, что это всё персонально мои выдумки и что надо бы на самом деле вести эту речь в первом лице. Скорее всего, здесь с лёгкостью опознаются типичные культурные «топосы», вычитанные из книг, выдыханные из воздуха и усвоенные на правах собственных очевидностей, собственных до-мыслительных даже душевных движений. Если угодно, своего рода «комплексов».

* * *

Всё-таки не хватает ночи, чтобы жить. Днём — не то. Днём нет такого интимного внутреннего соприкосновения с жизнью. Днём вся «метафизическая физика» не та.

Самое лучшее время — раннее утро (по окраске и освещению ещё совершенная ночь), перед самым-самым (всегда вынужденным!) отправлением спать: самое яркое, самое уютное, вкусное, доброе, точное, бодрое. Это время, куда стекают самые сладкие остатки дня, самая его «эссенция». Это время, когда острее и полнее всего хочется жить.

Самое острое счастье — дожить до утра из глубины ночи. Тогда человек весь раскрывается изнутри, как огромный глаз.

Когда у меня нет возможности жить ночью, я в какой-то мере слепну. Меня просто становится меньше.

Днём — во многом вынужденное существование. Ночью — свобода.

* * *

Тринадцатое ноября

Может быть, люди только тогда могут вполне оценить настоящую степень своей близости и потребности друг в друге, когда любовь между ними (или безответная любовь кого-то одного из них — не так уж важно) — наваждение, претендующее на самооценку, — кончается.

Десять лет жизни в режиме интенсивности как в норме. Такое даром не проходит, не может пройти. Вполне возможно, только благодаря ему, безответному, я и знаю вообще, «что такое» любовь. Он мне, сам о том не заботясь, десять лет выращивал (с неминуемым раздиранием душевных тканей, но — так лучше помнится) душевные глаза на тех местах, где их раньше не бывало. То был великий урок видения и чувствования. Экстатичность размером в десять лет нужна была, чтобы победить мою косность, интроверсию и эгоцентризм: только благодаря этой «чрезвычайщине» я, кажется, и научилась по-настоящему чувствовать, кроме себя, ещё и кого-то другого — не как пресловутую «часть себя» (он, ускользавший, никогда ею и не был, и не собирался быть), а именно как Другого. В его суверенности (покушения на которую он воспринимал очень болезненно) и в отличиях от меня

и всего моего (которые в случае с ним были совершенно непреодолимыми). Это был великий урок гибкости, смирения, самоотдачи и — что ещё того важнее — чувства пределов самоотдачи, умения остановиться у чужой границы (ох как не сразу я этому научилась! но боль, которую мне самой же пришлось испытать из-за этого неумения, вписала в меня чувство чужой границы самым нестираемым образом).

Все эти десять лет были сплошным воспитанием чувства Другого. Я бы совсем не сказала, что теперь оно у меня оптимально: оно полно всяких и перегибов с преувеличениями, и недостач. Но некоторая важная основа всё-таки заложена. Всему, чему я учусь дальше, я учусь на этой основе и только благодаря ей.

Когда он кончился как наваждение, «вдруг» оказалось (на самом деле это было ясно уже тогда, просто принимать этого не получалось — не хотелось), что у этих отношений не было собственных, жизнеспособных содержаний. Именно поэтому мне и не хочется в них назад, и несмотря на то, что это был один из самых значимых, интенсивных и подлинных опытов в моей жизни, я никогда — никогда — не тоскую по этому человеку. Настоящей близости и настоящей потребности друг в друге там не было и быть не могло.

Тем не менее — или как раз поэтому — воспитало и выстигло меня именно это.

* * *

Об искусстве дистанций

Близкие люди нужны (звучит чересчур прагматично, но что ж делать) ещё и для экономии душевной энергии, для «рационального» её распределения. Для того, чтобы мы на них концентрировались (заодно и — с полным правом на это), не обременяя своим избыточным и неуместным участием так называемых посторонних. Одно из того, чему едва ли не всю жизнь приходится учиться, — искусство дистанции и самодозирования.

* * *

Об экзистенциальной ущербности

К многочисленным делениям людей я, хронический любитель ситуативных классификаций, не могу не соблаз-

ниться добавить ещё и эту: люди делятся, в числе прочего, по типу «движущих сил». Кого-то может двигать та же лень (измыслить что-нибудь, чтобы усилия не прикладывать, — а почему бы нет?! Мне такие вещи не даёт делать, пожалуй, прежде всего «гипероценка» усилия. Усилие — сверхценность. Скажешь слово «усилие» — так внутри себя по струнке и вытягиваешься), кого-то — честолюбие, кого-то — желание усовершенствовать мир или хоть деньги, наконец. По мне же усилия — едва ли не в первую очередь терапия чувства вины, и сверхценность их — тоже от него. Оно меня гонит, толкает, даже когда мне самой явно не хочется, заставляет землю гореть под моими пятками: не пойдёшь, не сделаешь — будешь виноватой!.. Даже не «перед кем» — это уже во вторую очередь, хотя «перед кем» всегда найдётся. Была бы вина, а адресат найдётся — а виноватой вообще, по состоянию, по качеству.

«Вина» в переживании этого типа — «экзистенциальная ущербность». Самые большие неудачи своей жизни я переживаю именно в модусе чувства вины (даже в тех случаях, когда всё произошло, казалось бы, по вполне «объективным» причинам): это-де я виновата, что оно так сложилось, потому что — экзистенциальная ущербность. Ловила себя и на том, что и любовь (свою — к кому-то) ухитрялась (чуть ли не по сей день ухитряюсь) переживать в модусе чувства вины: «не всё»-де сделала для того, чтобы этому человеку было хорошо, чтобы создать ему полноту жизни; виновата в том, что влюблена и покушаюсь тем самым (хоть бы и невольно, хоть бы и только в мыслях) на его независимость и суверенность; ну и т. д.

Стыдно перед нищими в метро, даже когда совсем очевидно, что они профессионалы: всё равно стыдно. Стыдно (то есть ещё до включения критичности к таким душевным движениям — она, слава Богу, включается, но тем не менее), что не обездила много стран: мало видела — сама виновата. Ну и так далее. Жизнь в свете этого — если постараться «эксплицировать» предпосылки такого переживания — выглядит как дар, за который надо непременно расплатиться (опять-таки неважно, «с кем/с Кем») достойным объёмом усилий и достойным качеством их результатов. Недостато-

чен объём усилий, недостаточно (хотя бы единственно по собственному внутреннему чувству) качество результатов — «сама виновата».

* * *

О части и Целом

Пытаясь объяснить в себе чувство вины, возникающее в самых, казалось бы, не располагающих к тому обстоятельствах, подумала, что за этим, пожалуй, стоит чувство этической значимости буквально каждого человеческого движения поскольку всё имеет отношение к жизни (так ли уж преувеличиваю?) мирового Целого — к взаимоотношениям Космоса и Хаоса, порядка и распада. Любым движением мы можем либо поддерживать и воссоздавать порядок и жизнь, либо их разрушать.

* * *

Размашисто и необязательно

А вообще хочется жить размашисто и необязательно. И вся «дисциплина» обожаемая (и не достигаемая никогда) нужна исключительно ради этого: чтобы можно было жить свободно (внутренне — а в этом случае, как именно внешне — почти и не важно. Скажем, так: хороша та внешняя жизнь, которая не мешает, а пуще того — способствует внутренней свободе) — не разлетаясь, не разваливаясь, а сохраняя внутреннюю цельность и упругость.

Ещё один из признаков внутренней свободы — это когда мы любую, хоть случайно подхваченную мелочь можем внутри себя дорастить до чего-то значительного и/или соотносить с чем-то значительным. (Вообще, есть такой особенный, отдельный талант, талант крупности, — способность видеть и переживать всё происходящее в аспекте его значительности, умение это «поймать».)

Может быть, она и в том, чтобы даже от любого значительного — отойти.

И уж точно — отойти в любой момент от того, что претендует быть значительным для нас, — самостоятельно выбирая, согласиться на это или нет.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Грякалов А. А. (Санкт-Петербург)</i> «Монодрамы вещей» и субъективность: пределы забвений и незабвенное	3
<i>Лишаев С. А.</i> Первое, что запомнилось (вещь в биографическом контексте)	29
<i>Балла О. А. (Москва)</i> Поэтика потерь: к антропологии вещи	57
<i>Разинов Ю. А.</i> Фальшивка	63
<i>Иваненко Е. А., Корецкая М. А., Савенкова Е. В.</i> Дарудар. Жизнь и смерть простых вещей	82
<i>Мелихов Г. В. (Казань)</i> Простое	109
<i>Сериков А. Е.</i> Ситуации и поведение. Голод как ситуация	120
<i>Балла О. А. (Москва)</i> Упражнения в бытии	140